

ПЕРЕВОДЫ

Анри Труайя — автор знаменитой серии биографий русских писателей от Пушкина до Чехова. Это не удивительно: Труайя родился в Москве в семье видных армянских купцов Тарасовых, покинувших страну в 1921 году, когда их младший сын был еще ребенком. Лев Тарасов, ставший французским писателем Анри Труайя, известен мировому читателю как знаток русской литературы и истории. Его «Достоевский» выдержал несколько изданий во Франции, переведен на многие языки. На русский язык книга не переводилась, и мы предлагаем читателям главы, посвященные романам Достоевского¹, а также воспоминания Анри Труайя о работе над монографией о великом писателе.

Анри Труайя вспоминает о работе над книгой о Достоевском¹:
... Работа над биографией Достоевского — задача грандиозная, но и благодарная. Я испытывал отвращение к «беллетризованной биографии» и принуждал себя очень строго следовать документам, которые были в моем распоряжении. Русская библиотека Тургенева в Париже содержала тогда (во время оккупации немцы вывезли ее в Германию) ценнейшие книги о Достоевском на русском языке. Я прочел не только все произведения самого Достоевского, но и все, что было о нем написано. От книги к книге у меня накапливались записи и росло мое восхищение. Какая во всех отношениях исключительная жизнь! Нищета, тюрьма, каторга, эпилепсия, игра, гений, слава — все соединилось в ней и все было истинной правдой. Но как придать этой правде правдоподобие и убедительность? Я практически закончил изучение творчества и жизни Достоевского, но все еще не приступал к работе над книгой. Хотя я знал о нем все, он продолжал оставаться для меня чужим и загадочным. Я видел его таким, каким его описывали мемуаристы, но не представлял его себе в реальной жизни. Мучительные поиски образа превращались в наваждение. И вот однажды ночью мне приснилось, что Достоевский входит в мою комнату. Он сутулился и выглядел усталым, как на портрете Перова. Он заговорил со мной своим хриплым голосом. И вдруг я почувствовал его запах — кисловатый запах старика. Это был шок! На следующее утро, об-

¹ Перевод (с некоторыми сокращениями) осуществлен по изданию: Troyat, Henri. Dostoïevsky. Paris. Fayard. 1957.

¹ Фрагмент из книги воспоминаний А. Труайя (Troyat H. Un si long chemin. Paris, Stock, 1976) печатается по разрешению автора.

ратившись вновь к давно изученным материалам на моем столе — мемуарам, письмам, дневникам той эпохи — я ощущал, как вся эта печатная продукция приходит в движение, наполняется теплом настоящей жизни, и понял, что могу, наконец, писать книгу.

Мне хотелось полностью воздать Достоевскому должное и не только рассказать о его жизни, но и проанализировать его творчество. Воодушевляющая, но и пугающая задача! Ведь читать Достоевского значит погружаться в изумительный мир, в мир, где реальное переплетается с фантастическим. Фантомы, которые весят в его сумеречных краях, не нуждаются ни в пище, ни в сне, и, когда они закрывают глаза, чтобы отдохнуть, ими немедленно овладевают грезы. Им неведомо, что такое деньги, они не знают, есть ли они у них и откуда они, в точности, берутся. Две-три детали обрисовывают их жилища и даже лица их едва очерчены. Поэтому все их бытие заключено в духовной жизни и в душевной борьбе, и, проходя через бесчисленные жизненные потрясения, они ищут не лучшего места в мире, а идеального положения перед Богом.

Доктор Чиж, известный специалист по Достоевскому, считал, что персонажи Достоевского в большинстве своем невропаты. Действительно, на первый взгляд как будто нет ничего общего между нами и этими бродягами, анархистами, полусвятыми, этими отцеубийцами и пьяницами, эпилептиками и истеричками. А между тем, они удивительно близки нам. Мы их понимаем. Мы их любим. Мы, наконец, узнаем в них самих себя. Но если каждый из них представляет собой патологический случай, а мы индивиды в принципе вполне нормальные, то как объяснить природу той горячей симпатии, которую они нам внушают?

Истина в том, что безумцы Достоевского не так уж безумны, как, может быть, кажется. Просто они таковы, какими мы не осмеливаемся быть. Они говорят и делают то, что мы ни говорить, ни делать не осмеливаемся. При свете дня они выставляют напоказ то, что мы тайм в глубинах подсознания. Они — это мы сами, но увиденные изнутри. При таком способе видения — своего рода внутренней киносъемке — автор ясно видит самое сокровенное в нас, а заметное невооруженным глазом — плоть, одежда, обстановка, обыденные поступки — от него удалено. Объектив камеры наведен на внутренний мир, и тогда мир внешний представляется расплывчатым, как в сновидении. Если же Достоевский порой поддается искушению и снабжает свои создания медицинским ярлычком, то делает это в оправдание их поступков, непостижимых для слишком приверженных житейской логике читателей. Но герои его вовсе не больны, да и не могут быть больны, ибо они бестельесны. Или, вернее, их телесная оболочка лишь предполагается.

Все творчество Достоевского — великая борьба противоположных идей, и самое замечательное в этой борьбе — ее исход: она не приводит ни каким практическим результатам. Ибо для автора, как и для его героев, счастье — это смирение. «Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение», — говорил он. И еще: «Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в соей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины». Через трусость и преступление, через радость и горе человек у Достоевского идет, спотыкаясь, по пути, ведущему его к Богу...

Судьба моей книги была весьма печальной. Она появилась в книжных магазинах в мае 1940 года, когда немцы вступили в Бельгию. Несколько газет, вскоре закрывшихся вследствие капитуляции Франции, отзывались о ней с похвалой. Но французам было уже не до чтения.

«ДОСТОЕВСКИЙ»

(Главы из книги)

«Преступление и наказание»

Проблема, мучающая Раскольникова, героя романа «Преступление и наказание», как и героя «Записок из подполья», — это проблема безграничной свободы. Бедный, но гордый студент ищет выход из нищеты. Он знает одну старуху, дающую деньги под проценты. Что стоит существование этого зловредного существа по сравнению с его жизнью? Если он ее убьет, если он завладеет ее деньгами, он сможет помочь матери и сестре, ведущими жалкую жизнь в провинции, оплатить учебу в университете, стать влиятельным лицом и творить добро: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения». «Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки?» Его план неопровержимо логичен, опасно соблазнителен. «Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

События благоприятствуют осуществлению замысла, с неодолимой силой овладевшего им: «Точно он попал клюком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать». Он уже не в состоянии сопротивляться. Он наносит удар. Убивает. Грабит. И по странному стечению обстоятельств ни одна материальная улика не позволяет следователям подозревать его.

Но тут-то и начинается настоящая драма — драма внутреннего возмездия. «Если действительно все это дело сделано было сознательно... если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял», — допрашивает сам себя Раскольников.

И мало-помалу, задавая себе вопрос за вопросом и ужасаясь ответов на них, он осознает подлинные мотивы своего преступления. «Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! — при-

знается он Соне.— Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право имею...*»

Итак, Раскольников, как и человек из подполья, задыхается в рамках официальной морали. Он ощущает свое превосходство над окружающей его безликой толпой. Он чувствует, что отличен от других и призван к особой судьбе: он избран для совершения опасной авантюры — обретения духовной независимости. Люди, подобные ему, имеют право пренебрегать нормами морали: для них существует иная, высшая мораль или, вернее, морали не существует вовсе, а одна лишь безгранична свобода. Для них преступление не злодеяние, а наказание — пустое слово. Несомненно, именно так Наполеон оправдывался в своих собственных глазах, если он, конечно, испытывал подобное желание. «... Настоящий *властелин*, кому все разрешается,— рассуждает Раскольников,— громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры,— а стало быть, и *все разрешается...*»

Все дозволено некоторым. Все дозволено тем, кто сам готов все себе позволить, ибо само это желание — признак исключительности.

Для Раскольникова старуха-процентщица всего лишь первое препятствие, стена из плоти, которую предстоит разрушить, переступить и забыть, чтобы выйти на путь полной свободы: «...я не человека убил, я принцип убил!» Убив этот принцип, Раскольников надеется ощутить себя сверхчеловеком, Богом. Он вздохнет свободно, он найдет себя в наконец-то завоеванной независимости.

Но на деле никогда он не был более зависим, чем с тех пор, как вышел из границ обычного человеческого существования. Навязчивая идея разъедает самое его чувство свободы. Он хотел разорвать все моральные путы, но вместо этого налагает на себя новые. Днем и ночью в его сознании идет борьба между оправданием и осуждением преступления, которым он желал бы гордиться. Днем и ночью одни и те же аргументы и доводы неотступно

преследуют его. Он раздаивается. Он превращается в адвоката не только самого себя, но и своей жертвы. Он больше не индивид — он вместилище дебатов.

Духовная природа человека не может оправдать убийства, и личность убийцы распадается так же, как разлагается труп жертвы. Никакая цель, пусть самая возвышенная, никакая идея, никакая религия не позволяют убийства. И тот, кто поднимает руку на своего ближнего, поднимает руку на Бога, поднимает руку на самого себя. Когда Раскольников опустил топор на череп старухи, не скверную ростовщицу он убил — он убил самого себя или, вернее, тот божественный свет, который нес в себе.

«Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную», — успокаивает сам себя Раскольников. «Это человек-то вошь!» — восклицает Соня.

Любая человеческая жизнь дороже любой отвлеченной теории отдельного индивида. Никакое, даже самое гуманное побуждение нельзя признать достойным, если оно влечет за собой смерть человека. Ибо человек, каков бы он ни был, есть создание Божье. Да, старуха-закладчица была «бесполезная и зловредная вошь», да, Мармеладов — горький пьяница, да, Соня — безответная проститутка, но все они любимы Богом, ибо созданы по образу и подобию Божьему. Грандиозно, непостижимо, но для Бога все они равнозначны Раскольникову.

Таким образом, «переступив через стену», Раскольников с первых же шагов на новом пути терзается сомнениями. Ему не по себе на этой обширной, открывшейся перед ним равнине. И его силы, которых достало, чтобы переступить, здесь вдруг изменяют ему. Он желал быть сверхчеловеком, а дрожит и жалуется, точно запертый в темной комнате ребенок.

Он далек от всех. Он чужд всем и чужд самому себе. Он — другой. Окружающие принимают его за безумца. Тогда он бежит от этих людей, с которыми у него нет больше ничего общего, и идет к несчастным. Он сострадает пьянице Мармеладову, больной туберкулезом вдове Катерине Ивановне и Соне, которая продает себя, чтобы кормить братьев и сестер. Но и среди них он тоже чужой. Пролитая кровь отгораживает его от других людей. Пролитая кровь замыкает его в самом себе. Только покаявшись, понеся наказание, Раскольников вновь приобщился бы ко всему человечеству. Однако он боится быть уличенным, арестованным, преданным суду. Он ходит в полицейскую контору и обсуждает с полицейскими убийство старухи. И следователь Порфирий, который давно уже подозревает его, с демоническим хладнокровием играет с ним: то доводит до исступления, то удерживает от признания и успокаивает, то снова возбуждает в нем страх.

«Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись... Я даже вот уверен, что вы «страданье надумаетесь принять».

Раскольников не выдерживает испытания свободой. После жестокой внутренней борьбы он, этот сверхчеловек, бросается к ногам уличной женщины Сони и признается ей в убийстве. Она советует ему пойти с повинной.

«— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.

— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо, — отвечает Соня».

Он послушается ее: пойдет на перекресток, встанет на колени, поцелует «землю, которую осквернил». Потом пойдет в полицейский участок.

«Тихо, с расстановкой, но внятно проговорил:

— Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил».

Раскольникова приговорят к каторжным работам, Соня последует за ним в Сибирь. «Но, — пишет Достоевский, — он не раскаивался в своем преступлении».

«Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление... ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно!»

И он размышляет о том, что многие «благодетели человечества» не свернули со своего пути и были оправданы, он же не посмел дойти до конца и признан виновным. Рушится вся система его рассуждений. «Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною».

Из этого ложного убеждения, из этих мучительных сомнений внезапно рождается вера. Да, внезапно, как от одной искры вспыхивает сноп соломы. Когда-то Соня прочла ему из Евангелия от Иоанна легенду о воскрешении Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Тогда ему не открылся пророческий смысл этого изречения, и только теперь в Сибири на устах его появляется слово «воскресение». «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам... Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь».

Так, благодаря падшей женщине Сонечке Раскольников познает наконец высшую свободу. Это не свобода гордеца. Человек не Бог. Самый сильный духом человек нуждается в Боге. Восставать

против Бога значит восставать против самого себя. Желать уподобиться Богу значит погубить в себе человека, значит возможать раствориться в космическом пространстве, значит желать быть и не быть одновременно.

Таким образом, в рамках официальной морали существует свобода избрания добра. Эта низшая свобода допускает возможность греха. Можно было бы делать зло, но от этого воздерживаются, потому что это «запрещено», за это грозит «наказание», «тюрьма», «ад». Те, кто презирает подобные уроки глупых наставников,— мыслители, люди, сильные духом,— те переступают через стену. И тогда они оказываются в области другой свободы — высшей. Не из новшествия затверженному с детства правилу творят они добро, и не от страха перед небесной или земной каройдерживаются от зла,— они творят добро и зло **по своей собственной воле**, следуя своему инстинкту. Одни принимают себя за сверхчеловеков и первыми же экспериментами над собой подрывают свои силы. Другие открывают сладость творить добро во имя самого добра. Добро по свободному выбору, добро без принуждения, добро во имя любви незаметно ведет их к Богу и спасает их.

Раскольников примет мир в Боге, когда отречется от содеянного. Он совершил злодейство. Он взял на себя этот грех из гордости. Он не сумел воспользоваться той, пусть и малой, свободой, которая была ему отпущена. Он хотел разрушить свою человеческую природу. Он предполагал, что нравственный инстинкт первым погибнет в его душе, когда он перешагнет через кровь. Но нравственный инстинкт оказался сильнее его: он его терзает, заставляет смиренно склониться к земле — он его спасает.

Раскаяние искупит ошибку, он будет свободен. В своем вновь обретенном смирении Раскольников находит себя и находит Бога и обретает себя в Боге и в мире. Он выбрал новый путь и возродился к новой жизни. «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Так окончательный вывод Достоевского совпадает с учением Евангелия.

Вокруг судьбы Раскольникова — центра, красной точки книги вращаются судьбы других грешников, которые, как и он, нарушили нормы прописной морали и которые, как и он, будут прощены. В грязном притоне Раскольников встречает пьяницу Мармеладова, мужа Катерины Ивановны и отца Сони. Подлец и фразер, Мармеладов потерял место и пропивает все, что имеет. Он заложил одежду жены. Он примирился с тем, что его старшая дочь пошла на панель и зарабатывает деньги, которые он не способен более зарабатывать сам. И он со своего рода извращенным сладостра-

стием наслаждается глубиной своего падения и невозможностью земного воскрешения.

«Пожалеет нас Тот,— говорит он,— Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал... И всех рассудит... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненки, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...»

Итак, в смирении — шанс искупить грех для того, кто готов смириться. И проститутка Сонечка смиренна более, чем кто-либо иной из персонажей романа. «Ты тоже переступила... смогла переступить,— говорит ей Раскольников.— Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это все равно!)... стало быть, нам вместе идти, по одной дороге!»

Но тогда как Раскольников извлекает бесконечную гордыню из попрания людских законов, Сонечка сознает свое падение, переносит его так, как переносят неизлечимую болезнь. Она искренне привязывается к единственному человеку, который не гнушается ее. Она испытывает к нему, по выражению Достоевского, «ненасытимое сострадание». И перед этой чистотой, сохранившейся даже в грехном сердце, перед этой безропотностью Раскольников преклоняет колени. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился».

Одной Соне признается Раскольников в своем преступлении. И она ответит ему: «Что вы, что вы это над собой сделали!.. Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!»

Позже она последует за ним в Сибирь и поддержит его в его духовном возрождении.

Образ этой святой грешницы, женщины, осужденной земными законами, но оправданной законом небесным,— один из самых обаятельных у Достоевского. Ее самоотречение, ее кротость причиняют нам боль, почему-то делают нас ответственными за ее беды. Как если бы она взяла на себя всю великую вину человечества, как если бы она, погубив себя, спасала нас. Но, по сути, никто не погибнет из тех, кто считает себя погибшим. Раз никто не виновен, а все виновны за все...

Рядом с Соней — сестра Раскольникова Дуня, готовая добровольно и покорно принять свою долю греха. Она идет на то, чтобы продать себя холодному негодяю Лужину, она, как и Соня, и грешница и святая. Грешница потому, что решается на брак с тем, кого не любит, святая потому, что соглашается на это ради брата.

Другой «великий грешник» — Свидригайлов, в доме которого Дуня служила гувернанткой и который домогался ее. Он — прирожденный циник. Ни во что не верит. Ничего не боится. Будущая жизнь представляется ему как «одна комната, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность». В погоне за наслаждениями он не считается с последствиями, к которым приводят его прихоти. «Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком», — говорит он о смерти жены. Когда-то он изнасиловал глухонемую четырнадцатилетнюю девочку, потом повесившуюся на чердаке.

Свидригайлов последовал за Дуней, сестрой Раскольникова, в Петербург и преследует ее, добиваясь ее расположения. Он заманивает Дуню в пустую квартиру и предлагает, уступив ей, спасти брата, признание которого подслушал. Завлеченная в ловушку, Дуня хватает револьвер и готова убить своего обольстителя, но с отвращением отбрасывает оружие. И он, убедившись, что она не настолько любит его, чтобы убить, в отчаянии отпускает ее.

Этот великодушный порыв, вложенное в этот порыв достоинство опустошают его. В нем, никогда никого не любившем и никого не ненавидевшем, пробуждается подлинная страсть. На него, до сих пор испытывавшего только ощущения, угрожающие надвигается настоящее чувство.

«Весь этот вечер до десяти часов он провел по разным трактам и клоакам».

Затем он отправляется к Соне и дает ей крупную сумму денег. Потом идет к своей невесте, девочке-подростку, проданной ему несчастными родителями, и дарит семье 15 тысяч рублей. Наконец, он снимает комнату в какой-то дрянной гостинице и пытается заснуть.

Но кошмары преследуют и изнуряют его. Он видит во сне лежащую в гробу девочку и узнает в ней загубленного им ребенка. Ему представляется также пятилетняя девочка, брошенная в угол темного коридора. Он ведет ее к себе. Но вот она поворачивается к нему пылающим лицом, простирает руки.

«А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку... Но в ту же минуту проснулся».

В приступе лихорадки и отвращения к самому себе он выходит на улицу и стреляет в себя.

Мармеладов, Соня, Дуня, Свидригайлов — негодяи, циники, несчастные, которые обрамляют великую фигуру Раскольникова, несут в самих себе свое прощение. Они сознают свое падение. А для Достоевского лишь те достойны быть судимы Богом, кто сам осуждает себя. Ничего нет на земле презреннее, чем человек, лишенный желания, бесплодный ум, впавший в гордыню интеллигенту.

ал. Никакое преступление не отирает права на прощение. Любовь спасает всех. Любовь и смирене, ибо любовь человеческая должна быть смиренной.

Достоевского упрекали за то, что он изображает только монстров и больных. «Муза лазарета», «жестокий талант»,— говорили о нем.

Доктор Чиж, видный специалист по Достоевскому, считает, что четверть персонажей Достоевского — невропаты. Он насчитал шестерых в «Преступлении и наказании», двоих в «Братьях Карамазовых», шестерых в «Бесах», четырех в «Идиоте» и четырех в «Подростке».

И в самом деле, Раскольников постоянно «дрожит в лихорадке» или «мечется в бреду». Свидригайлова мучат сладострастные, леденящие душу галлюцинации, Мармеладов на грани белой горячки, Катерина Ивановна на последней стадии чахотки. И вообще, как говорит Свидригайлов, весь Санкт-Петербург — «это город полусумасшедших».

Конечно, на первый взгляд у нас нет ничего общего с этими приводящими нас в замешательство существами. И однако они притягивают нас, как притягивает бездонная пропасть. Мы никогда их не встречали, но они почему-то близки нам. Мы их понимаем. Мы их любим. Наконец, мы узнаем в них самих себя. Они ничуть не более аморальны, чем мы,— они то, чем мы не осмеливаемся быть. Они делают и говорят то, что мы не отваживаемся ни делать, ни говорить. Они выставляют на яркий свет то, что мы прячем в глубинах нашего сознания.

Они больны? Безумны? Пусть! В этом их **оправдание**. Чтобы убедить читателя в жизненности своих созданий, в обоснованности их столкновений, в логичности их поступков, Достоевский вынужден наделить их слабоумием, туберкулезом, эпилепсией, истерией... Он взваливает это на них, избавляя от этого нас. Он делает нам уступку, приклеивая им на спину этикетку с обозначением какой-нибудь патологии. Ведь его персонажи — бродячие идеи, и он, снабжая их медицинским ярлыком, как бы говорит: все, что я рассказываю, совершенно правдоподобно, потому что рассудок этих людей расстроен.

И официальная критика поддается на эту уловку. Она изучает книги Достоевского как учебники по психопатологии. Ей не приходит в голову приподнять маску и взглянуть в подлинное лицо этих монстров, в их человеческое, в наше собственное лицо.

«В который раз уже задаются вопросом, имеет ли право художественная литература заниматься болезненными исключениями,— пишет Вогюэ. Но где здесь исключения? Где здесь больные? Чтобы быть больным, нужно иметь тело. Создания Достоев-

ского его не имеют, они — воплощение наших собственных мыслей, они — сами наши мысли. А мир, в котором они обитают, подобен нашему благодаря искусству и лукавству автора. Эти выстуженные комнаты, смрадные притоны, сумрачные проулки, эти уличные фонари, криво торчащие из грязи, эти уродливые тряпки на окнах — все это походит на декор сновидений. Это не реалистическая живопись, а горячечные видения. И все детали, которые автор высвечивает в этом сплетении мрака и нечисти, поражают, как знаки дьявольского садизма. Смысл их загадочен: картинки, изображающие немецких барышень, в комнате у процентщицы, крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба в кабаке, kleenчатый, очень ободранный диван в каморке Мармеладова и грязная, издрогшая собачонка с поджатым хвостом, перебежавшая Свидригайлова дорогу перед смертью... Жуткие в своей точности детали, как электрошок, встряхивают нас, но они нас не пробуждают. Они служат просто для того, чтобы дать нам прочувствовать путь, ведущий от реальности к грэзее. Они своего рода вехи, которые время от времени из милосердия Достоевский расставляет на нашем пути. И потом мы продолжаем наш путь сомнамбул...

Раскольникова сравнивали с революционером Базаровым, героем романа Тургенева «Отцы и дети». Однако между Базаровым и Раскольниковым огромная разница. Базаров — новый человек, герой своего времени и строго своего времени: нигилист. Раскольников — человек на все времена. Его мучают не социальные, а метафизические проблемы. Он **порождение** не интеллектуальной моды, а человеческой **неизменности**. Базаров мыслим только в рамках XIX века. Раскольников мог бы появиться и в средние века, и в наши дни. Базаров — один из нас. Раскольников — каждый из нас...

«Идиот»

«Русский вестник» начал публикацию «Идиота» в январе 1868 года. Достоевский говорил, что никогда еще не было в его литературной жизни поэтической мысли лучше и богаче, но он не выразил и десятой доли того, что хотел. И действительно, «Идиот» как и «Бесы» и «Братья Карамазовы», — одно из самых значительных его произведений.

Эпилептик князь Мышкин возвращается из швейцарской клиники, где один из профессоров из милости лечил его. Он сирота. Все его имущество — тощий узелок с вещами. Он ничего не знает о реальной жизни. Он говорит о себе словами своего врача: «...он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож

на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил».

Князь, это двадцатишестилетнее дитя, учтив без заносчивания, робок, добр и невинен. Он не жил, или, вернее, он не жил деятельной жизнью. Его жизнь проходила во внутреннем созерцании. Он далек от мира социальных различий, от мира, где правит арифметический закон: «дважды два — четыре». Он чист для любого контакта с людьми. Но когда он попадает к ним — в огромный город, населенный хищниками, мошенниками, сластолюбцами, шутами и пьяницами, он оказывается там чужим.

Первый визит по приезде в Санкт-Петербург он наносит своему дальнему родственнику генералу Епанчину, чтобы посоветоваться с ним о делах. Он только вышел из своего уединенного убежища и совершаєт промах за промахом. Он обращается с длинной речью к камердинеру генерала, допускает бесактиность по отношению к его секретарю; позже он, произнося горячечную тираду, разбьет китайскую вазу. Эта китайская ваза — своего рода символ. Китайская ваза — материальный мир, с которым он сталкивается и в который, воодушевляясь своими убеждениями, вносит хаос и разрушение.

Однако этот симпатичный губитель фарфора, этот простодушный и неловкий проповедник не вызывает возмущения у окружающих. Наивная доверчивость, с которой он относится к людям, обезоруживает тех, кто встречает его враждебно. Конечно, над ним смеются, но ему прощают нарушение условностей, как прощают иностранцу ошибки в неродном языке. В нем угадывают **чужеземца**, от которого абсурдно требовать норм поведения, неизвестных в его стране. И потом, этот **странник**, этот **пришелец**, на первый взгляд лишенный всякого воспитания, наделен особым знанием. Ему ведомо то, что не дано постигнуть тем, кто **замурован** в стенах этого мира. Он обладает главным умом. «Главный ум у вас лучше, чем у них у всех,— говорит ему дочь генерала,— такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и неглавный. Так? Ведь так?»

По сути, весь роман сводится к этому: **вторжение главного ума во владения ума неглавного**. Этот главный ум — ум, не подчиняющийся принципам причинности и противоречий, не зависящий от норм морали,— есть ум подполья, ум чувства, который неизбежно внесет расстройство в любую среду, куда будет пересажен. В этой спрятой атмосфере приход Мышкина — приток свежего воздуха. Первое его появление встречено взрывами смеха: он смешон, он «дурак», идиот, даже его мать в детстве обращалась с ним, как с идиотом. Но мало-помалу этот идиот, этот дурак подрывает

принципы, казавшиеся самыми прочными. Слабоумный заставляет задуматься людей благоразумных. Чужак делается необходимым. Больной укрощает сильных, причем вовсе не стремясь к этому. Он верит, что окружающие его люди благородны и любят его. Он относится к существам насквозь испорченным и злым так, точно они исполнены кротости и любви, и превращает их в своих союзников. Они становятся добре, потому что он хочет видеть их такими, потому что он верит, что они таковы.

Он — центр силового поля. От него исходит необъяснимое притяжение. Гордецы, смиряясь, приобщаются благодати, эгоисты открывают душу раскаянию, озлобленные обретают невинность детства. Стыд, ненависть рассеиваются при его появлении. Жизнь каждого наполняется не земным, а высшим смыслом. Каждый воспринимает его как свидетельство того, что иная форма жизни и иной мир возможны. Он влияет на видящих его, на слушающих его. Они уже не те, кем были до встречи с ним.

Но сильнее других испытывают воздействие его личности насильники, злодеи, заблудшие — все те, кто «переступил границы». Кто первым поймет его? Купец Рогожин, зверь, который убьет в конце книги свою любовницу. И падшая женщина Настасья Филипповна. Почему они? Да именно потому, что эти существа свободны от принципов расхожей морали. Они «переступили через стену». Конечно, оказавшись за ограждавшей их когда-то крепостной стеной, они сбились с пути. Но они — те, кто прошли через испытание свободой, страдали, творили зло, — ближе к истине и более достойны истины, чем те, кто не пробовал вкусить ее. Страсть извиняет все. Страсть, даже преступная, выше самоуспокоенности пустой души.

Впрочем, среди друзей Мышкина, кроме тех, кто бежал из ми-рат-тюрьмы, есть и те, кто туда еще не вошел: дети. У детей податливый ум, не знающий запретов. Они не успели составить о мире застывшее представление, для них все в движении, — у них еще есть шанс. Для них ничто ни от чего не зависит, и все может превратиться во все. Эти новые существа, эти «птички» инстинктивно таковы, какими другие тщатся стать, преодолевая тяжкие испытания. Дети живут вблизи природы, вблизи Бога. Позже они тоже подчинятся законам, установленным людьми, и будут потеряны для свободы. Родители и учителя преждевременно превратят их в ученых старичков, холодных резонеров, в цепляющихся за комфорт буржуа, — в монстров разного рода. Но пока они еще свободны — и уязвимы. И поскольку они свободны, поскольку они уязвимы, — они друзья Мышкина. Мышкин, как и они, дитя, заредшее ко двору взрослых.

Интеллектуалы воздвигают на пути к небу систему укреплений из прописных истин и укрываются за ними от света небесной истины, их собственная гордыня отгораживает их от Истины: «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам».

Всех этих бунтарей, этих непокорных и блаженных объединяет своего рода таинственное братство. Заплутавшись в бесконечности чувства, они общаются между собой телепатическими токами. Они разгадывают друг друга еще до того, как успеют совершить какой-нибудь поступок. Они наделены вешим даром угадывать будущее. Ничто не удивляет, ничто не возмущает этих исступленных визионеров. Так, когда спрашивают у Идиота, возможен ли брак между Настасьей Филипповной и Рогожиным, он отвечает просто: «Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».

Настасья Филипповна наперед знает, что погибнет. Она пишет о Рогожине: «Я бы его убила со страху... Но он меня убьет прежде...»

И князь Мышкин, заметив на столе Рогожина нож, угадывает в нем орудие убийства. Расставшись с Рогожиным, Идиот спрашивает себя: «Но... разве решено, что Рогожин убьет?»

Позже он отправится к Рогожину без зова, просто потому, что «предугадывает» несчастье. И Рогожин будет ждать его у входа в дом, просто потому, что «предугадывает» его приход, и скажет ему: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоль».

Однако эти существа, пророчески предвидящие свою судьбу, не могут предотвратить подстерегающую их опасность. Они не умеют, не могут, они как будто бы и не хотят обойти пропасть, к краю которой неотвратимо приближаются. Они рабы своего ясновидения. Они не властствуют над своей жизнью — они ее чувствуют. Они жадны до сильных ощущений. Они не жаждут ни счастья, ни отчаяния — они только желают доказать себе, что существуют. А всякое несчастье — благо для тех, кто хочет измерить пределы своего бытия. Я страдаю, следовательно, я существую. Я пре-возмогаю муки, следовательно, я буду существовать. Тот, кто идет к встрече испытаниям, устремлен к Богу. Тот, кто уклоняется от них, удаляется от него.

«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».

Действие романа развивается от катастрофы к катастрофе. Каждая из них заранее известна «чувствительным персонажам», но они не отворачиваются ни от одной. Герои Достоевского ищут своей гибели. Князь Мышкин, «положительно прекрасный человек», впервые пришел в дом генерала Епанчина. Едва вступив в круг семьи, он уже оказывается в центре всех интриг. Он втяги-

вается в то, что его не касается, что угрожает его душевному спокойствию, самой его жизни. Стоило ему увидеть на фотографии страдальческое лицо Настасьи Филипповны, как он тут же решает дать свое имя этой великой грешнице, хотя понимает, сколь абсурдно его желание. Он борется за молодую женщину с мрачным и грубым Рогожиным и, когда наконец отступается от нее, знает наверняка, что посыпает Настасью Филипповну под нож. И Настасья Филипповна бежит из-под венца к Рогожину потому, что это самая большая ошибка, которую она может совершить. И Рогожин убивает ее потому, что предчувствует: он будет каяться в этом всю жизнь. И убийца, и человек «положительно прекрасный» примиряются у трупа: оба они испытывают облегчение оттого, что неизбежное наконец свершилось.

Эта книга страсти, кажется, первый большой **роман о любви**, написанный Федором Михайловичем Достоевским. И однако любовь, все те любовные драмы, которые образуют сюжетные линии «Идиота», не имеют собственной значимости. Любовь — препятствие для преодоления, а не передышка, рождающая надежду. Любовь — этап на пути к истине, а не сама истина. У Достоевского любовь никогда не приносит умиротворения ни душе, ни телу. Желание никогда не удовлетворено. Плотский акт никогда действительно не совершен. Женщина для него — некий реактив, но ее место между мужчиной и Богом отнюдь не бесполезно. Ее назначение — пробудить в мужчине способность страдать, мучить его, сломить, возвысить, заставить преступить нравственные запреты и наконец ввергнуть его, изнемогающего, изумленного, обновленного в неизреченный мир свободы. Женщина — вечный соблазн, и преодоление его обещает конечный покой.

Напрасно было бы искать в последних романах Достоевского героиню, которая была бы главным лицом произведения, подобно Анне Карениной и Наташе Ростовой Толстого, Татьяне Пушкина или Эмме Бовари и Эжени Гранде. Великие романы Достоевского — это мужские романы. Антропология Достоевского, если воспользоваться выражением Бердяева, — антропология мужская. Для него женщина не самоцenna: она средство, а не цель. И почти всегда одна женщина служит двум мужчинам одновременно. Их привлекают к этой женщине разные чувства, так как мужчина может любить одновременно двух женщин. Женщина раскалывает личность мужчины надвое. Он раздваивается на любовь- сострадание и любовь- страсть. Мышкин любит Настасью Филипповну, но он также любит и дочь генерала красавицу Аглаю. Красота Аглай пленяет его, притягивает, но трагическое лицо Настасьи Филипповны вызывает у него бесконечное сострадание.

«Я не могу лица Настасьи Филипповны выносить... Я... я боюсь ее лица!» — говорит он. — Я ее «не любовью люблю, а жалостью».

И поставленный перед выбором между Настасьей Филипповной и Аглаей, он выбирает первую: «Он только видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого... у него «пронзено навсегда сердце»... «ведь она... такая несчастная!»

Настасья Филипповна мечется между больным князем, целомудренным и добрым до глупости, и жестоким и страстным Рогожиным. Она возбуждает бесконечную жалость в Мышкине и неистовую страсть в Рогожине. Ее тело и ее душа играют каждое свою роль в судьбе этих двух соперничающих из-за нее мужчин. Одного погубит ее тело, другого — ее душа. И однако, когда она будет мертва, оба эти породившиеся в страдании любовника с равной силой ощутят избавление.

Таким образом, для Достоевского любовь одного человека к другому не заменяет любви к Богу. Земная любовь несовершенна: кратковременна, мучительна, смешна,— но она потрясает души и готовит их к той единственной любви, которая никогда не приносит разочарования.

Следует, впрочем, заметить, что любовь к ближнему — единственный вид помощи, который персонажи Достоевского требуют друг от друга. Мышкин — святой, он не умеет действовать, он умеет только любить. Если он пытается действовать, он совершает ошибки. Ему не только не удается кому-нибудь помочь, наоборот, он разрушает самые благополучные ситуации. Проход этого «положительно прекрасного человека» между людьми оплачивается одним убийством и тремя или четырьмя семейными драмами. Сам же «положительно прекрасный человек» окончательно сходит с ума. Он не смог жить в чуждом ему климате, не смог выдержать искуса жизнью, не смог воплотиться в человека. Но его гибель спасла тех, кто его окружал. Общение с ним пробудило в них лучшие человеческие качества, заставило задуматься над вечными вопросами бытия.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Так строфа из Евангелия выражает, кажется, скрытый смысл романа «Идиот».

Из всех созданных Достоевским персонажей в Идиоте, может быть, меньше всего человеческого и земного. Алеша Карамазов тоже чист душой, но ему все известно о зле, ему понятна власть страстей, ведомы соблазны тела и искушения духа, и он умеет ими управлять. Алеша Карамазов — полноценный человек, князь Мыш-

кин — человек «не от мира сего». Он лишен чувственности, и сам говорит о себе: «Я не могу жениться ни на ком, я нездоров».

Это неземное создание следовало как-то приблизить к миру человеческих чувств, облечь в плоть воплощенную в нем идею, дать ей лицо, голос, наделить прошлым. Для придания большей жизненности своему бестелесному герою Достоевский использует свой личный опыт.

Мышкин — эпилептик. Перед приступом его, как и Достоевского, переполняет беспределный восторг. Как и Достоевский, он ждет его, он надеется на бесценное мгновение, когда откроется ему в озарении высшая гармония мира: «В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что *времени больше не будет*». Болезнь постоянно держит его в состоянии своего рода гипнотической радости. Внезапно мир заливается для него необычайным светом. В этом проблеске его взор проникает за пределы человеческого бытия, и он чудом прозревает грядущее.

Воспоминания князя — также воспоминания самого Достоевского. Так, князь рассказывает историю человека, которому прочли смертный приговор: расстрелять как политического преступника. «Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет». Дальше следует точное описание казни петрашевцев.

Еще одна автобиографическая деталь: Мышкин не может смотреть на висящую у Рогожина копию с картины Ганса Гольбейна «Снятие со креста». «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» — восклицает он. В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны читаем: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна (Hans Holbein), изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению... Я не в силах была смотреть на картину... и ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии». И он сказал ей эту фразу: «От такой картины вера может пропасть».

Отношение князя к своему сопернику Рогожину также напоминает отношение самого Достоевского к его сопернику Вергунову: «Я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен... Если совер-

шенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду».

Да, на всем протяжении книги чувствуется, как старается Достоевский, нагромождая вещественные детали, фактические подробности, личные наблюдения, убедить неискушенную публику в достоверности этой фантастической истории. Он вводит в мир, где действует принцип: «дважды два — четыре», персонажей, задуманных под знаком: «дважды два — три», и прилагает все усилия, чтобы совместить несовместимое. И однако в этом романе, действие которого происходит на твердой земле, нет статистов. Все — Рогожин, Настасья Филипповна, Ипполит, Лебедев, Аглай, Иволгин, — все они озаряют этот кошмар своим светом.

«Разве не способен к свету Рогожин?» — спрашивает сам себя князь. Он хочет проникнуть в душу своего соперника. Только ли слепая страсть владеет этим человеком? Способен ли он страдать и сострадать? «Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их тайну», — пишет Аглае Настасья Филипповна. Кажется, этот человек не властен над своей судьбой. С первых же страниц книги он настигнут, захвачен, управляем своим преступлением. Он убивает эту женщину, столь долго желаемую, в самый момент обладания. И это потому, что он надеялся разгадать ее душу в телесном слиянии, но само это слияние бесповоротно разъединило их. За этой плотью, за этим запахом скрывается существо, которое не откликнется ни на какую ласку. Рогожин и Настасья Филипповна замкнуты каждый в своем одиночестве, и обычные человеческие поступки недостаточны, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние. Склонившись над этим лицом, вдыхая это дыхание, Рогожин терзается, чувствуя, как далек от женщины, которую прижимает к груди. Она не принадлежит ему и никогда не будет принадлежать ему безраздельно. Рано или поздно она снова покинет его. Одна только смерть соединит их навсегда. И он воинствует ей в сердце нож. Потом ждет прихода князя.

Князь не удивлен признанием Рогожина, и, когда тот говорит: «Выносить не давать», он отвечает: «Н-ни за что!.. Ни-ни-ни!»

Постепенно оба погружаются в беспамятство. Когда приходят арестовать убийцу, застают Рогожина в горячке и бреду, а князя тихо гладящего рукой его щеки и волосы.

Что до Настасьи Филипповны, то она предвидит свою смерть с самого начала. «Я бледна, как мертвец», — улыбаясь, замечает она перед тем, как идти венчаться в церковь. И в самом деле, у этой грешной страдающей души нет иного выхода, кроме смерти. Настасья Филипповна любит Рогожина как самка, привлеченная запахом самца. Она любит Рогожина, но понимает, что этот мужлан недостоин ее. Только князь может спасти ее от окончатель-

ного падения, но его любовь слишком походит на сострадание и не может удовлетворить ее. Она горда. Она не приемлет милостыню из жалости. И из чувства противоречия она лелеет свое бессчастье — препятствие, которое мешает ей быть любимой так, как она сама хочет. «Вы могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили, — говорит ей дочь генерала. — Будь у вас меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее». Потребность смирения странно сочетается в Настасье Филипповне с безмерным тщеславием. Суть в том, что **она жаждет смириться, но не желает быть усмиренной**. И эта особенность свойственна всем созданиям Достоевского.

Вокруг этих трех protagonистов кишит живописная толпа паразитов, циников, падших.

Лебедев — подобострастный чиновник, сальный сводник, ростовщик, лжесвидетель, но зато он глубокомысленно толкует Апокалипсис и горько оплакивает участь графини Дюбарри. Он говорит Рогожину: «А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел».

Есть еще генерал Иволгин, «отставной и несчастный», самоизабвенный врун, который в конце концов перестает отличать вымысел от реальности.

Есть также влиятельный генерал Епанчин, влюбленный взыхатель Настасьи Филипповны, и еще один взыхатель — Ганя, который подумывает жениться на ней, чтобы обеспечить себе карьеру: «Стоит эта «мука» семидесяти пяти тысяч или не стоит?»

Есть красивая Аглая, которая и смеется над князем, и обожает его. Есть наконец особенно любопытная фигура Ипполита, большого чахоткой юноши; его дни сочтены и последнее его желание — прочесть публично свою исповедь.

Образом этого умирающего Достоевский ставит проблему высшей значимости последних мгновений жизни.

Душа Ипполита, как и душа его создателя, — арена борьбы двух начал: материи и духа.

Есть ли что-нибудь за стенами? Существует ли сила, способная победить законы Природы? Возможно ли чудо воскресения или же все в мире отрегулировано по формуле «дважды два — четыре»? И Ипполит обращается к Христу, несущему свет Истины. Он вспоминает картину, виденную в доме Рогожина, на которой изображен Христос, только что снятый со креста. «На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на

этот труп измучённого человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот Мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал и природу при жизни Своей, Которому она подчинялась, Который воскликнул: «Талифа куми», — и девица встала, «Лазарь, гряди вон», — и вышел умерший?»

И действительно, тайна Христа бессильна перед законами природы, перед принципом «дважды два — четыре». Чудотворного Человека схватили, как простого смертного, и вся мощь Его мысли не спасла Его ни от гвоздей, раздирающих Его скрюченные ладони, ни от копья, проломившего Его ребра, ни от плевков, стекающихся по Ему пресветлому Лику.

Так, природа мерещится Ипполиту «в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо — такое Существо, Которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого Существа!»

Все философские системы и все религии не преодолеют законов материального мира и закона чисел. Говорят, что Христос воскрес, но самый Его позорный конец свидетельствует, что вера тщетна, — закон смерти неумолим.

Что ж! Раз дело обстоит так, раз существует только бездушная вечная сила — Первый Двигатель, который уничтожает без разбору добрых и злых, детей и стариков, тупых буржуа и чистых гениев, остается лишь склониться перед ним, чему пример подал Сам Христос. Но признать владычество Первого Двигателя вовсе не значит обожать его. «Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?» — вопрошает Ипполит.

И если он заблуждается, если он богохульствует, ответственен ли он за свою ошибку? «Но если это так трудно и совершенно даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое?.. Мы слишком унижаем Провидение, приписывая Ему наши понятия».

Эта безнадежная диалектика есть диалектика подпольного человека: «Молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно

замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого».

Атаку логики на веру не отразить рассуждениями. Вера не рождается из цепочки умозаключений, как решение какой-нибудь арифметической задачи: веру обретают не разумом, а чувством. И несколько дней спустя, когда Ипполит спрашивает князя, как ему лучше всего умереть, Мышкин отвечает замечательными словами: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» Пусть тот, кому недоступно нерассуждающее счастье, счастье вопреки доводам рассудка, идет своей дорогой и оставит других с миром в душе. Математически точная формула «дважды два — четыре» враждебна религиозному чувству и не возбудит его в сердце неверующего. Таков урок, который выводится из великолепного эпизода с исповедью Ипполита.

«Бесы» *

«Преступление и наказание» — история одного человека, который в поисках свободы преступает нравственный закон и приходит к произволу и убийству. «Бесы» — авантюра целого народа, который низвергает социальный порядок и, надеясь спастись, губит себя.

Убийство для индивида то же, что революция для коллектива. Цель Раскольникова — доказать себе, что он не вошь, аморальным деянием купить право на свободу действий и в известном смысле самому стать богом. Цель демагогов, призывающих к бунту, — внушить толпе сознание сверхчеловеков, резней добыть независимость и основать религию масс вместо веры в Бога. И как отступник Раскольников утрачивает всякую свободу на следующий же день после своего нравственного падения и делается рабом навязчивой идеи, так и целый народ, взбунтовавшись, по окончании своего испытания не приобретает ничего, кроме унизительного рабства и душевной опустошенности.

Ибо вечное искушение принципом «все позволено» может быть и личным, и коллективным. Оба эти эксперимента сходны во всех своих мельчайших поворотах, и оба заканчиваются провалом в никуда. Не может быть свободы без веры в Бога. Тот, кто ищет свободу без Бога, обречен на гибель души. Социализм есть вопрос религиозный и как таковой и должен быть трактован.

В самом деле, цель социализма, **русского социализма**, не только в том, чтобы обеспечить достаток рабочему классу и устроить

* Эта глава из книги А. Труайя была опубликована в журнале «Сельская молодежь» (1995, № 4).

земную жизнь человека, его цель — свести к этим сиюминутным благам всю человеческую жизнь. Социализм не этап в судьбе человечества — он всеобщая религия человечества. Он — последнее слово о судьбах человечества. Он не дублирует христианство — он его замещает. Нет Бога, нет бессмертия души, нет искушения — нет счастья, кроме счастья материального, осязаемого, доступного каждому.

«Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы».

Такое счастье уготовано человеку от рождения до смерти в мире, превращенном в муравейник. Индивидуальные качества личности, современный мир души, душевые восторги, духовные порывы — все поглощается трясиной бессознательного и ничтожного. Государство печется о пропитании, логове и мелких повседневных радостях этого жалкого стада. И человек полагает, что он счастлив.

Но человек нуждается не в одном счастье, и хлеб насущный не единственная его пища. Человек жаждет, чтобы каждое мгновение его бытия озаряла вера в высшую радость, возвышенную и дивную, от которой он не будет отлучен. Он жаждет нечего такого, чего не добыть ни работой, ни хитростью: он жаждет несоизмеримого, непроницаемого, нескончаемого.

«Весь закон бытия человеческого, — говорит Степан Трофимович в последней главе «Бесов», — лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии».

Увы! Жизнь доказала, что Степан Трофимович переоценивал людей.

Конечно, в те годы, когда Достоевский писал «Бесов», нигилизм не приобрел еще того значения и не оформился в то определенное направление, которое придал ему в своей книге автор. В 70-х годах XIX века современники Достоевского не знали столь законченного типа революционера, как Ставрогины, Кирилловы, Шатовы, Верховенские или Шигалевы. Даже Нечаев, послуживший Достоевскому прототипом зловещей фигуры Петра Верховенского, не сравним с масштабом этого персонажа. Типы этих одержимых дьяволом бунтарей, этих бесноватых от социализма появились только в XX веке. И, в действительности, XX веку принадлежит роман Достоевского «Бесы» — гениальное предвосхищение, грозное пророчество, все значение которого не смогли оценить современники. В этом произведении увидели всего лишь карикатуру на свое время и не распознали в нем предсказания кровавого будущего. Не поняли, что этот торопливо набросанный «шарж» скоро

превратится в картину ужасающего сходства. Трагедия русской революции стала зловещим эпилогом предвещавшей ее великой книги.

Но этот чреватый кровопролитием бунт рождает вопрос: кто его хотел? Кто его подготовил? Разумеется, люди 40-х годов, все эти Белинские, Тургеневы, все эти доморощенные либералы, эти слепцы, которые верили в народ, но не понимали его, и которые не предвидели, каким гнусным гримасничаньем обернутся их пла-менные речи.

Всякая революция предполагает два аспекта одной и той же реальности. В плане идеологии — развитые существа, озлобленные философы, мыслители, освобождающие себя от какой-либо моральной ответственности. В плане практики — забитая масса, которая осуществляет на деле их указания, опьяняясь мыслью о близкой независимости и давая выход своим самым низменным инстинктам. И здесь мы находим дорогое Достоевскому изображение двойника, «гримасничающего» Голядкина, которого каждый из нас носит в себе. Эти забрызганные кровью мерзавцы — возмездие учителям: «Вы же сами говорили, что все позволено». Что ответит на это теоретик? Как после революции ответили на этот вопрос **русские интеллигенты**, все эти Степаны Трофимовичи, Иваны Карамазовы 1917 года? Они уехали. Бежали, в ужасе отрянув от своего уродливого детища. И ждали. Чего? Да национального возрождения, которое Достоевский предсказал в «Бесах»: демоны никогда не останутся в большом истерзанном теле, в которое вошли. Бог бдит. И настанет день, когда эта орда дьяволов будет изгнана и войдет в свиней. И, как сказано в Евангелии, свиньи, обезумевшие, бешеные, бросятся в озеро. Но больной исцелится, — пишет Достоевский, — и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением. «Милая, vous comprendrez après¹, а теперь это очень волнует меня... Vous comprendrez après... Nous comprendrons ensemble...»².

«Бесы», как и все романы Достоевского, ценные не сюжетом, а идеями, которые вложил в них автор. Идеи и есть персонажи. В «Бесах», как в «Братьях Карамазовых», как в «Идиоте», каждый персонаж — носитель какой-нибудь одной идеи. В «Бесах» надо всем доминирует устрашающий силуэт Верховенского. Достоевский создавал этот образ, используя документальные материалы о Нечаеве и свои личные впечатления о заговорщике Спешневе. Об этом последнем он даже как-то сказал: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».

¹ Вы поймете потом (франц.).

² Вы поймете потом... Мы поймем вместе (франц.).

И действительно, Верховенский — настоящий Мефистофель. «Выговор у него удивительно ясен... Сначала это вам и нравится, — пишет автор, — но потом станет противно, и именно от этого слишком уж ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов». Он то угодлив, то нагл. Он никогда не действует под влиянием увлечения словом или поступком. Нет, он рассчитывает, прикидывает и потом с холодной злобой забрасывает сеть. В небольшом провинциальном городке, где он организовал нигилистический кружок, он притворяется, будто тушуется перед красавцем Ставрогиным, но на самом деле заговорщики подчиняются только ему.

В группе революционеров его ненавидят и боятся. Его идея революции наводит страх: «Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают... учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши».

«Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ».

А потом? Потом Верховенский, вдохновляясь системой устройства мира, разработанной одним из членов его комитета, Шигалевым, намерен установить всеобщее равенство между людьми.

«Первым делом, — говорит он, — понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкальвают глаза, Шекспир побиваются каменьями — вот шигалевщина!» Целенаправленное удушение свободомыслия уничтожит духовное достоинство личности, убьет в человеке дух поиска и превратит его в пешку, точно такую же, как другие пешки.

«Самая главная сила — цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения».

Элементарный человек боится не походить на своего соседа, самостоятельно мыслить, боится одиночества, боится принять на себя нравственную ответственность. Рабство распылит эту ответственность на множество равных голов, а нивелировка уничтожит индивидуальные различия. Сама мораль станет безличной. Вся жизнь станет развертываться за чертой добра и зла.

А для того, чтобы окончательно превратить человека в искусственного монстра, его оградят от всего, что пробудило бы в нем мечту об утраченной благодати, оградят от любви, от семьи: «Чуть-чуть семейства или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим

неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».

Время от времени, чтобы стадо не заскучало, устраивают небольшую, быстро подавляемую, местную смуту. Этим порабощенным народом правит тираническое большинство: «У рабов должны быть правители».

Таким образом, революция, свергнув власть одной автократии, неизбежно ведет к установлению власти другой автократии.

«Выходя из безграничной свободы, я **заключаю** безграничным деспотизмом».

Единственный принцип, который погибнет в этой схватке, будет принцип религиозный. Мир сменит одного земного властителя на другого и навсегда забудет о Боге. Кто же станет новым властелином?

«Затуманится Русь, — говорит Верховенский Ставрогину, — заплачут земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? Ивана-царевича».

Иван-царевич — это Ставрогин. Это Ставрогину Верховенский приносит в дар вселенную. Он предлагает окружить легендами его личность, чтобы его сила и красота покорили толпу.

«И застонет земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное».

«Неистовство!» — отвечает Ставрогин.

Но разве вся русская история не соткана из неистовства?

В действительности, Верховенского влечет к Ставрогину своего рода сатанинская любовь, уничтожительное благоговение. Вспомним сцену, где он бежит за ним, хватает его за рукав, а тот едва отвечает ему: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» И он вдруг целует у него руку. Апостол обезлички испытывает, несмотря на весь свой нигилизм, потребность верить в кого-то, кто выше его. Бунтовщик ищет хозяина. Циник благоговеет перед тем, кто его презирает: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом!»

В высшей степени любопытна эта тайная потребность атеиста в самоунижении и молитве. Поистине, жизнь без любви невозможна, если даже Верховенский нуждается в ней. Не важно, что чувство, которое он питает к Ставрогину, нелепо, низко, постыдно в его человеческом проявлении. Важно, что Верховенский признал необходимость склониться перед кем-то более великим, чем он сам, и одного этого достаточно, чтобы осудить всю его социальную систему.

Что же до бога Верховенского, до Ивана-царевича, то его образ сначала показался нецензурным, потому что издатель Катков отка-

зался опубликовать капитальную главу «Бесов», названную «Исповедь Ставрогина». Полвека прошло, прежде чем увидела свет глава, скрывавшая тайну этого персонажа.

Как и Раскольников, Ставрогин — «разрушитель стен». Раскольников освободился от предписаний старой морали. Он пострадал во имя иллюзорной свободы. Он с фанатическим пылом боролся с самим собой и с верой в Бога. Он был прощен. Он вновь обрел Христа, ибо, сам того не ведая, он искал Христа.

Но Ставрогин ничего не ищет. Раскольников, если верует, то верует, что он верует. И если не верует, то верует, что не верует. «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует». Раскольников страстен в своем отрицании. Ставрогин привычен к отрицанию. Он не дорожит своими убеждениями, — он их не выстрадал. Неведомо как они сложились в нем, и для него очевидно, что Бога нет, любая мораль относительна, «все позволено», а сам он судить себя не станет.

Но если нас не тревожит наше безразличие к утрате духовных ценностей, если в нашей душе угасла борьба веры с неверием, то как нам тогда любить, ненавидеть, надеяться, чем нам вообще жить? Если нам не останется ничего, кроме нашего своеволия, то во имя чего нам обуздывать его? Бесстрастный отступник Ставрогин дал иссякнуть в своей душе всем горячим источникам живой жизни. Он сам не знает толком, зачем явился в этот мир, он и не пытается это понять. Он живет по привычке. Он влакит день за днем, и скука незаметно подтачивает его душевые силы. Скука рождается из неверия. Что делать, говорить, что стоит труда быть сделанным, сказанным, если все — только для самого себя? Ставрогин ищет средства развеять свою хандру и не брезгует никаким развлечением, ни в одном не находя удовлетворения. Все, что могло бы нарушить его бесстрастие, он принимает с пугающей благодарностью. Он получает пощечину, но и не помышляет ответить тем же, желая насладиться новым ощущением бешенства и уничижения: «Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить». Он крадет с бесстыдством, которое сам находит упоительным, и дерется на дуэли, чтобы испытать безмерную ярость и безмерный стыд. Он вынуждает наказать девочку за кражу, которую она не совершила, потом насиливает ее и не мешает ей покончить с собой. Он видит, как она вошла в чулан, смотрит на часы и, выждав двадцать минут, подходит к двери и глядит в щелку: «Наконец я разглядел, что было надо...» Девочка повесилась.

«Тогда в первый раз в жизни, сидя за чаем и что-то болтая с ними, строго сформулировал про себя, что не знаю и не чувствую

зла и добра и что не только потерял ощущение, но нет зла и добра, а один предрассудок...»

Скука душит его, и Ставрогин мечется, как больной в постели, в поисках «самого удобного положения».

Сначала он ищет это положение в безобразном самоотречении — в своей личной жизни. Он женится на плюгавой и скудоумной хромоножке: «Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы». Он женится не в припадке безумия, не по пьяному пари. Нет, он женится хладнокровно, цинично, чтобы посмотреть... Но и чудовищный комизм этой свадьбы не удовлетворяет его. Он быстро пресыщается ощущением позора и ищет нового преступления, чтобы растревожить свое спокойствие. Двоеженство? Он подумывает об этом, но потом оставляет эту мысль. Призрак погибшей девочки является ему во сне. Однако беспокойство, которое вызывают у него эти ставшие обыденными видения, не излечивает его от скуки. Сама тоска его делается скучной.

Тогда он ввязывается в социальную борьбу. Увы! И среди бунтовщиков он тоже не находит себе места, потому что ни во что не верит. «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами!» — взывает к нему Верховенский. Ставрогин не исповедует ни христианскую религию, ни религию русского социализма. Создание земного рая по образцу Шигалева нисколько не прельщает его, а обещание стать однажды Иваном-царевичем вызывает усмешку. К чему все это? Массовые убийства, возведение улья рабочих-рабов на руинах цивилизации, установление еще одной диктатуры над стадом глупцов не вылечат его от скуки. Одно лишь раскаяние принесло бы ему облегчение. Раскаяние, то есть смирение, покаяние. Если бы он обнародовал свою исповедь, безбоязненно встретил насмешки и оскорблений, если бы он принял страдание, тогда для него блеснул бы луч надежды. Раскольников был спасен, когда признал себя виновным и пожелал прощения. Само желание прощения уже есть небесная награда.

Но в момент, когда в Ставрогине как будто пробуждаются угрызения совести, страшное безразличие вновь завладевает им.

Верховенский окружил Ставрогина кучкой экзальтированных и ничтожных революционеров. Заговорщики убеждены, что их круг — один в сети таких же обществ, опутавших Россию. Верховенский позволяет им думать, что он послан от Центрального комитета. Он беспрерывно говорит о секретных сообщениях, о приказах сверху, о налаживании связей. Он возбуждает в участниках заговора взаимные подозрения. Он сеет среди них страх предательства. Он властвует над ними, потому что они не доверяют друг другу.

После скандала, организованного стараниями Верховенского, после пожара и убийства, члены группы пугаются содеянного: «Куда это нас заведет?» Чтобы прибрать их к рукам, Верховенский внушает им, что один из них, Шатов, донесет на них и его нужно убить. На деле же Верховенский рассчитывает, что коллективное убийство с cementирует кровью единство этих трусов, что совместное преступление свяжет их друг с другом страхом и ненавистью.

Жертвой Верховенский выбрал Шатова. «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придаст их собою, иногда даже на века». Когда-то он был убежденным либералом, но отрекся от заблуждений юности и не скрывает своего несогласия с Верховенским. Однако резкая перемена убеждений привела его к такому разброду в мыслях, что он больше не знает, чему и кому верить, как распорядиться своей жизнью. Он несчастен, одинок и поэтому не решается порвать с кружком Верховенского, хотя и проклинает его.

Для Шатова, как и для Верховенского, социализм и атеизм неразделимы. Социализм атеистичен: социализм строит свой мир по законам науки. А народы формируются и живут по иным, необъяснимым законам. История любого народа сводится к исканию Бога или, точнее, к исканию **своего собственного Бога**.

«Цель всего движения народного, — говорит Шатов, — есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного... Чем сильнее народ, тем особливее его Бог... Если великий народ не верует, что в нем одна истина... если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ».

Каждый народ, по Шатову, имеет своего Бога. Но в таком случае существует лишь один истинный Бог, и, следовательно, все народы, кроме одного, заблуждаются. Какой же это единственный народ «богоносец»? Русский народ, отвечает Шатов. Русский народ потому, что это единственный народ христианского мира, не испорченный цивилизацией, единственный простодушный народ, единственный народ-дитя на земле.

Таким образом, Шатов-Достоевский наделяет мессианской ролью русский народ. Как древнееврейский народ считал себя избранным Богом, так и Достоевский считает русский народ мессией — грядущим спасителем мира. Согласно догматам христианства, признание Христа исключило появление другого мессии и возвело в ранг «избранной расы» все человечество как целое. Достоевский же упорно сохраняет только за русским народом приви-

легио быть особо любимым Богом. Мессианское христианское сознание для него национально, а не универсально.

В этой позиции видели «деиудеизацию христианства». Такая критика не совсем справедлива. Достоевский не отрицает, что все народы приобщены к Божьей истине. Он не допускает лишь узко этнического откровения, которое содержится в иудаизме. Он считает, что за прошедшие века все нации по очереди показали себя недостойными мессианства и одна Россия осталась на пути к Богу, потому что не была затронута прогрессом. Таким образом, не одной России дана была мессианская роль, но она одна ее сохранила. Здесь есть оттенок, который ускользает от толкователей творчества Достоевского и который хотелось бы подчеркнуть.

Как бы там ни было, идея народа-богоносца опасна, ибо она внушает народу веру в себя самого как в Бога. Именно в эту ошибку впадает Шатов.

— «Веруете вы сами в Бога или нет?» — спрашивает его Ставрогин. И Шатов лепечет:

«— Я верую в Россию, я верую в ее Православие...

— А в Бога? В Бога? — настаивает Ставрогин.

— Я... я буду веровать в Бога».

Достоевский, как и Шатов, идет к Богу через народ. Но тогда как для Достоевского народ — этап на этом пути, для Шатова народ — конечная цель.

В его сознании элементы народной веры и веры христианской так перепутались, что он уже не может их разграничить. В Шатове воплощены ошибки русских религиозных сект, которые примешивали язычество крестьян к евангельскому культу Христа. Он — прототип тех ересиархов, которые в экзальтации веры объявляют православие присущим одной России, отягчают веру странной обрядностью, иными, чем библейские, тайнами и под предлогом сохранения веры удушают ее. Источник тоски Шатова как раз в том, что в предписаниях этой варварской религии он больше не находит Христа. Он не догадывается, насколько проще и щедрее истинная вера! Счастье близко, но он ищет его ощупью, как слепой.

Он отдает себе в этом отчет, когда его жена, когда-то изменившая ему со Ставрогиным, возвращается к нему, чтобы родить. Он принимает ее со смешанным чувством робости и восторга. Он окружает ее заботами, удивляющими его самого. И когда ребенок рождается, когда на его глазах происходит чудо появления новой жизни, незнакомое ему доселе ликование охватывает все его существо.

— «Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, — заключает он.

— Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма», — заявляет акушерка, зараженная идеями социализма.

Но Шатов ее уже не слушает: он видел чудо, он уверовал: и отныне будет верить всегда. Впервые за много лет он чувствует себя счастливым.

В ту же ночь по приказу революционной группы его вызывают из дома и заманивают в лес, где его убивают Верховенский и его пособники.

Тем временем Ставрогин бежит из города. Желая отвести от него подозрения, Верховенский решает вину за преступление свалить на другого члена кружка — Кириллова.

Кириллов — эпилептик, тронувшийся в уме, который поклялся покончить с собой, чтобы доказать себе свою независимость. Раз он решил умереть, он должен подписать признание в убийстве Шатова. Кириллов соглашается на обман.

Кириллов, несомненно, одна из самых интересных фигур в мире Достоевского. Он атеист, как и Ставрогин, но в отличие от Ставрогина, он вносит в отрицание тот же пыл, который иные вносят в веру. От его безумной логики голова идет кругом:

«Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить свое воле».

Иными словами: какова крайняя степень непокорности, доступная человеку? Она — в отрицании самого своего существования. Если во власти человека своей собственной волей положить конец своим дням, то это потому, что он свободен, что он сам — Бог.

Если Бога нет, то я сам — Бог, и Кириллов добавляет поразительную фразу: «Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя».

Итак, ход мысли Кириллова возвращает нас к диалектике подпольного человека. Человек выдумывает идола и обносит его стеной веры, ограждая себя от свободы, которой боится. Из страха перед независимостью он сдается в плен своему собственному творению и поклоняется ему. Но он, Кириллов, восторжествует над тем, что привычно другим людям. И Кириллов вновь поднимает старую тему распятия, которая занимала и Ипполита:

«...если законы природы не пожалели и Этого... стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке».

Если существование Бога в установившейся форме абсурдно и человек, не желая того, сам есть Бог, то его долг — продемонстрировать человечеству эту новую истину. Самоубийство Кириллова, не мотивированное никакой причиной, есть утверждение предельной свободы, приобретая которую человек станет властелином вселенной.

«Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать». «Я начну... и дверь отворю».

После его самопожертвования люди наконец поймут, разрушат стену христианской морали и в свою очередь станут богами.

«Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».

Любопытно отметить, что атеист Кириллов исповедует ту самую доктрину, которую отвергает. Он убивает себя во имя спасения людей, как когда-то за любовь к человеку был распят Христос. По сути, Кириллов весь во власти образа Христа. Он жаждет в свою очередь взойти на крест, пострадать за других, своей кровью оплатить счастье других. И восторженная любовь к ближнему делает из этого атеиста фигуру почти христианскую. Я говорю почти, ибо Кириллов признает Христа, не признавая Бога. И тут уместно вспомнить странные слова из письма, которое Достоевский написал из Сибири госпоже Фонвизиной: «...если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной».

Так Достоевский разрывается между православным мессианством Шатова и атеистическим христианством Кириллова. Но в обоих позициях образ Христа остается неприкосновенным. Христос с Богом или Христос без Бога? Эта проблема, всю жизнь мучившая Достоевского, мучает и его героев. Кириллов, чтобы «разрешить ее», пускает себе пулю в лоб...

«Подросток»

Как все великие романы Достоевского, «Подросток» — это история борьбы за свободу личности. Раскольников убивает, доказывая себе, что свободен, Идиот обретает свободу в безумии, Бесы добывают ее через революцию. Герой «Подростка» хочет купить свободу за деньги: богатство вроде Ротшильдова — самый верный залог могущества и независимости.

«...моя идея это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд».

Юный Аркадий Долгорукий, незаконный сын помещика Версилова и крепостной, хочет быть одновременно и лакеем, и господином, — господином под маской лакея.

Чем больше он страдал в течение дня, тем сладостнее казались ему будущие радость и могущество. Он ищет страдания не ради самого страдания, а потому, что оно делает мечту о счастье дороже и прекраснее. Страдание для него, как и для всех персо-

нажей Достоевского, не цель, а средство: страдание все покупает, страдание все оплачивает. По сути, это единственная монета, которую Достоевский пускает в оборот и для героев романов, и для самого себя. Как он умеет торговаться, набивать цену, лукавить, когда нужно за страдание добыть высшее блаженство для себя или своих героев! Он, как те барышники, которые с решительным видом выходят из лавки, но тотчас туда возвращаются, которые досадуют, возмущаются, притворяются, что уступают, но прекрасно знают в глубине души, что сладили выгодную сделку. Он, этот «палац денег», вечно беззаботный, неисправимый расточитель, выказывает себя заправским негоциантом, когда расчет идет не на монеты в десять сантимов, а на «ливры плоти».

У Аркадия есть своя идея. Но какая идея может быть у оскорбленного и униженного? Он хочет возвести себя над людьми, разрушить все стены, перешагнуть через предрассудки, он хочет внушать страх, преклонение, хочет заставить себе повиноваться, также, как сам он боится, преклоняется, повинуется. Какое средство позволит ему осуществить свой проект? Ему стоило лишь оглянуться вокруг и убедиться, как велика в обществе роль богатства. Только богатый человек может делать все, что пожелает. Только богатый может купить и людей, и их совесть, может купить себе прощение. Мораль человека определяется размером его состояния, а за пределами некоей цифры морали не существует вовсе. Раскольников намерен сокрушить нормы морали телом своей жертвы. Аркадий — грудой золота. Преступление и деньги для них всего лишь средства возвыситься над людьми. Попытка Раскольникова трагична, попытка Долгорукого смешна, но цель у них одна, и крах ждет обоих. Они ринулись в похождения сверхчеловека, но были остановлены на полпути своей человеческой природой и незримым присутствием Бога.

Как Раскольникову не нужны украденные деньги, так и Долгорукому не нужны деньги выигранные. Оба стремятся только к «единенному и спокойному сознанию силы».

Но Раскольников ищет единенное и спокойное сознание силы в гордыне, а Долгорукий — в смирении. Раскольников ради власти убивает, крадет, рискует оказаться в Сибири. Долгорукий выбирает способ осторожный, но и бесславный: скопить деньги. «...деньги, — размышляет Подросток, — это единственный путь, который приводит на *первое место* даже ничтожество». Но как разбогатеть? Он изучает свое окружение. Все стремятся к деньгам, к богатству, и все готовы на все, чтобы их добыть. Продать себя? И Анна Андреевна с легким сердцем продает себя. Подделать чек или акцию? И Стебельков их подделывает. Прибегнуть к шантажу? Ламберт и Тришатов не отступают перед этим.

Но Подросток не из породы хищников. Он смиренен, и его честность — всего лишь страх. Он не станет рисковать и пускаться ради денег в опасные аферы: он скопит их копейка за копейкой.

Увы! Человек состоит не из одной целенаправленной воли. Как Раскольников, собираясь стать сверхчеловеком, вдруг сознает, что он «сволочь, как другие», так и Аркадий отступает от своей цели под влиянием простых земных чувств. Не новая идея побеждает великую идею Раскольникова и Подростка, а сама жизнь.

Подросток растратывает заработанные в городе деньги на пустые развлечения: на пари, игру, костюмы, экипажи. Он пускается в интриги, связывается с разными негодяями, наконец, примиряется с крахом своей мечты, которой когда-то упивался в единении своего «подполья». Будущий Ротшильд отказывается от роли сверхчеловека. Его отступничество не так патетично, как отступничество Раскольникова, — оно не оплачено такими же страшными, хотя причина его — те же моральные сомнения.

Аркадий отказывается от своей идеи и пишет исповедь: «Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается». И невольно вспоминается финал «Преступления и наказания»: «...но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь».

«Братья Карамазовы»

Семья Карамазовых живет в небольшом провинциальном городке. Старик Карамазов, циничный и развратный шут, прожигает свою жизнь в бессмысленном разгуле. От первой жены у него есть сын Димитрий; его нрав необуздан, но он способен как на благородные порывы, так и на отвлеченные рассуждения. От второй жены, истеричной кликуши, у него есть сын Иван, — ум беспокойный, дух мятущийся и разрушительный, герой и мученик отрицания всего и вся. Алешу как будто не коснулось наследственное проклятие Карамазовых. Он одарен мужественной добротой, противопоставленной «асексуальной» доброте Идиота. Он воплощает позитивный принцип книги; он — светлячок, вокруг которого, точно черные мухи, вьются остальные персонажи. Есть и четвертый брат — омерзительный Смердяков, сын старика Карамазова и немой полоумной девушки, которую он из бравады изнасиловал однажды вечером. Этот побочный и больной эпилепсией ребенок — лакей в доме своего отца. Он бесстрастен, надменен, хитер. Он восхищается Иваном, а Иван раздражается, узнавая в нем карикатуру на самого себя.

Между отцом и четырьмя его сыновьями одна женщина — Грушенька. Они соперничают друг с другом из-за нее. Тем временем

Смердяков, считая, что выполняет тайное желание Ивана, убивает старика Карамазова. Но в убийстве обвиняют Дмитрия, приговаривают к каторжным работам и ссылают в Сибирь. Такова эта история.

Двигают ее две проблемы: искушение грехом и вера в Бога — Грушенька и Христос.

Между двумя этими полюсами мечутся все персонажи книги. Одни, как старик Карамазов, одержимы только чувственностью, другие, как старец Зосима, — только верой. Между двумя этими крайностями, искусно смягчая краски, автор располагает души других исполнителей. Смердяков, Дмитрий, Иван, Алеша — разные обличья одного и того же с разных сторон освещаемого индивида, который постепенно освобождается от животного начала и превращается в «нового человека». Эти четыре брата — одно и то же существо, превращения которого зависят не от места в пространстве, а от расположения во времени. «Все одни и те же ступеньки, — говорит Алеша Дмитрию. — Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же, совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю».

На этой «тринадцатой ступеньке» находится и женщина — Грушенька. Ее содержит старый торговец, вытащивший ее из нищеты. Один из ее родственников говорит о ней: «Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке». «Скверного поведения женщина», — говорит и старик Карамазов, но добавляет, что она, быть может, «святые» всех монахов монастыря. Другие персонажи вторят им: «Эта женщина — зверь», «Это ангел». А Дмитрий восклицает: «Тигр и есть!.. Понимаю царицу наглости... инфернальницу! Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете!» Алешу более всего поражает в ее лице «детское, простодушное выражение». Кто же прав? Все, ибо Грушенька заслуживает всех этих оценок. Грушенька — невинная девушка, потаскуха, животное, святая, соединяет в себе всю сложность и противоречивость женской натуры. Женщина — это безумие во плоти. Женщины томятся от ожидания, отчаиваются, удовлетворив свою страсть, сгорают от желания отаться и упрекают вас за то, что вы ими овладели. Они жестоки из удовольствия стать потом нежными и нежны из удовольствия стать позже жестокими. Они целомудренны в пороке, невинны в сладострастии. Они лгут мужчинам, лгут Богу, лгут самим себе. Они не вовлечены в жизнь — они в жизнь играют. Они стоят перед жизнью, как перед зеркалом, и примеривают к себе разные роли. Они меняют выражение лица и манеру поведения, чтобы убедиться в реальности своего бытия. Мужчина доказывает себе свою собственную реальность через

постоянство. Женщина самоутверждается через вечную изменчивость. Мужчина хочет быть единственным, женщина многоликой. Мужчина чувствует себя тем сильнее, чем полнее сознает свои достоинства и недостатки. Женщина чувствует себя тем сильнее, чем полнее в ней неосознанность своей сути. Мужчина — организованный мир. Женщина — незавершенная вселенная. В ней все неожиданно и все ненадежно. Нужно или бежать от нее, или отказаться от власти над ней.

Красота Грушеньки околдовала старого Карамазова. Этот старик — пьяница, скучепец, лжец и развратник, — возможно, написанный самыми черными красками портрет отца Достоевского. «Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален», — пишет Достоевский о своем персонаже.

Для прекрасной Грушеньки старик Карамазов всего лишь брызгающий слюной шут. Он завещает ей причитающуюся Дмитрию часть наследства и каждый вечер ждет ее прихода. Он бродит по комнатам, одурев от желания. Он ждет. Ждет. Но Грушенька не уступает ему, как не уступает и влюбленному в нее Дмитрию. Она смеется и над отцом, и над сыном. Идут дни, и взаимная ненависть мужчин растет. Они «...друг за другом теперь и следят, — пишет Достоевский, — с ножами за сапогом».

Идея, владевшая Раскольниковым, лишила его независимости. Женщина, завладевшая Дмитрием и его отцом, превратила их в рабов своих желаний. «Красота — это страшная и ужасная вещь!» — заявляет Дмитрий. Да, потому что власть красоты над мужчинами равна, а подчас и сильнее, чем власть мысли. Эротическое безумие Карамазовых сродни политическому безумию Бесов. В обоих случаях жажда земного удовлетворения своих вожделений доводит людей до скотского состояния. В обоих случаях пренебрежение нравственными законами ведет к разврату и убийству.

«А Митьку, — говорит отец, — я раздавлю, как таракана». И Дмитрий говорит об отце: «Я ведь не знаю, не знаю... Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь».

Он шпионит за отцом в страхе, что Грушенька, польстившись на деньги, придет к старику. В одну из ночей слуга Григорий застает Дмитрия в саду. Дмитрий ударяет его медным пестиком по голове и обращается в бегство. Он находит Грушеньку на постоялом дворе: «Началась почти оргия, пир на весь мир». Вино, песни, пляски... Охмелевшая Грушенька признается Дмитрию, что любит его и хочет выйти за него замуж.

Создается впечатление, что приближение катастрофы возбуждает до пароксизма чувства этих сластолюбцев. Предвидение ужасной судьбы доводит их ликование до экстаза. Они веселятся, потому что догадываются: скоро у них не будет на это права. Верно ведь, что у Достоевского все радости, — если это не радости чисто духовные, радости «края ночи», «конца книги», — кажутся нам удивительно непрочными. Даже в тот момент, когда мы являемся свидетелями нисшедшего на героев блаженства, это блаженство причиняет нам страдание, ибо мы знаем, что это блаженство обреченных. С изощренностью палача Достоевский возделывает счастье своих жертв перед тем, как предаться их казни. Он не поражает измученную или больную плоть. Он выбирает день самый благополучный, день, озаренный надеждой, и наносит последний удар. Так, Дмитрия приходят арестовать, когда его любовное исступление в разгаре. Его обвиняют в убийстве отца. Напрасно он протестует перед следственной комиссией: все улики против него.

На самом деле отца Дмитрия убил подлый лакей, незаконнорожденный Смердяков. Этот паяц играет в романе столь дорогую Достоевскому вдвойне инфернальную роль. Какое мучение для порядочного человека встретить на своем пути существо, воплощающее все то низкое, скрытое, подавленное, глупое, трусливое, что затаилось на дне его души... Вы спокойны, вы в согласии с самим собой. И вдруг перед вами возникает индивид, душа которого сформирована из того, что вы в себе осуждаете. Индивид, который есть ваша скверна, свалка, ваше внутреннее зло. В этом большом рте ваши самые прекрасные слова превращаются в пошлые глупости, в этой узкой голове ваши самые прекрасные мысли обращаются против вас.

Так средний из братьев Карамазовых держит на поводке свою собственную обезьяну. И ненавидит ее. А тот восхищается этой ненавистью. Одного ненависть унижает, а другой наслаждается этим унижением. Чтобы угодить Ивану, которого женитьба отца лишила бы причитающейся ему доли наследства, Смердяков убивает старика. Он убивает не потому, что Иван прямо просил его об этом. Он убивает из убеждения, что угадал тайные помыслы своего барина.

Смутная надежда, скрывавшаяся в сердце Ивана, вдруг становится чудовищным деянием, и это деяние ужасает его. Из-за Смердякова, совершившего на деле то, что его хозяин совершал в мысли, Иван виновен уже не в мечте, а в поступке. Смердяков — это слияние мысли и действия. Смердяков — возмездие за духовную безответственность. Смердяков — кара мыслителя, освободившего себя от нравственного закона.

«...Вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего, — говорит ему Смердяков. — Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели». Иван сам себя допрашивает, сам себя убеждает, путается в мыслях: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства». А потом: «Хотел ли я убийства, хотел ли?» Ожидание отцеубийства, сама мысль о нем делают Ивана виновным. «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был», — твердит ему Смердяков. И лакей объясняет своему учителю, как созревало его, Смердякова, решение.

По сути, он убил потому, что ничто не удерживало его от убийства. Из речей интеллектуала Ивана Смердяков вывел заключение, что в этом мире «все позволено». Нет Бога. Нет ада. «...ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы в правду. Так я и рассудил».

Смердяков, отрекшись от общечеловеческой морали, переступив стену, путает свободу и произвол. Он убивает. И этим актом соединяет во зле Ивана Карамазова, утверждающего, что «все позволено», и Дмитрия Карамазова, восклицающего: «Зачем живет такой человек?»

Иван, невиновный перед законом, установленным людьми, судит себя сам. Отвернувшись от Бога, он оказывается лицом к лицу со Смердяковым. Вместо сверхчеловека он обнаруживает обезьяну. Вместо ведущей к свету лестницы — мрачную бездну. Вместо высшего разума — безумие. Этот умный, образованный, одухотворенный человек подвержен галлюцинациям. Он раздавливается. Он видит дьявола. И этот дьявол — он сам. «Ты — я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... Только все скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл».

Иван Карамазов — это сам Достоевский, которого «Бог всю жизнь мучил». Опровержения и богохульства Ивана — опровержения и богохульства самого Достоевского в часы сомнений. «Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я», — замечает писатель. И когда Иван Карамазов вопрошает: «Стоит ли высшая гармония слезинки хотя бы одного только замученного ребенка?», разве не сам Достоевский говорит его устами?

В сущности, весьма вероятно, что в глазах Достоевского Иван Карамазов играет ту же роль, что Смердяков в глазах Ивана Карамазова. Для Федора Михайловича Иван — воплощение той части его «Я», которая ему ненавистна. Иван — то, от чего автор

сам желал бы очиститься. Иван — высшая кара для его создателя.

Над этими проклятыми существами возвышаются две светлые фигуры — Алеша и старец Зосима. Алеша, младший из братьев Карамазовых, — послушник в тихом, окруженном высокими белыми стенами монастыре. Однако он вовсе не мистик в полном смысле этого слова. «Алеша, — пишет Достоевский, — был вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец».

Итак, это уравновешенный, укорененный в реальности юноша. Он верит в Бога спокойно, честно и здорово. Он, конечно, верит в чудеса, но чудеса его не смущают. Чудеса не основа его веры, а ее венец. «В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры».

Таким образом, Алеша «реалист», полноценный человек. Природа его доброты не ангелическая, она не предполагает, как у Мышкина, полного неведения зла. Алеша известно зло. Он понимает пороки братьев и отца, он не чужд грешникам, которые его окружают. Он от мира сего. Его заслуга — в умении преодолеть искушения и побороть соблазны.

К тому же и старец Зосима говорит ему: «Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь — что важнее всего».

Старец Зосима, как и его ученик Алеша, прежде всего человек, а потом уже святой. Он жил в миру, где был военным. Он решил стать священником не от отчаяния, не по велению рассудка, а от любви. Доктрина Зосимы — доктрина любви и радости. «...Необыкновенно поражало и то, — пишет Достоевский, — что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении». Старец согласен со словами своего умершего юным брата: «...жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать этого...», и еще: «...всякий из нас пред всеми во всем виноват»,

Всеобщая симпатия объединяет людей, но и мерзость каждого заражает остальных. Зло не довольствуется преступником и его конкретной жертвой — оно расползается, как масляное пятно. Те, кто желает зла, не совершая его, поражены им. И те, кто угадывает эти желания, не осуждая их, тоже им страдают. И даже те, кто ничего не ведает о свершившемся, есть его тайные сообщники.

Мы все виновны, все грешны, мы все несчастны. Мы крадем вместе с вором, которого не знаем в лицо, убиваем вместе с отцеубийцей, о котором читаем в газетах, насилием вместе со сладострастником, проклинаем вместе с богохульником... Каждый из нас вносит свою лепту в мировой грех. И однако все мы будем спасены. «Да и свершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь, — учит Зосима. — Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит... А будешь любить, то мы уже Божья... Любовью все покупается, все спасается».

Не к распорядку суровой жизни, не к монашескому отречению, не к слезливой жалости призывает Зосима верующих. Он требует от них немногого: признания своей греховности и любви к ближнему. Засчитывается не результат, а усилие, которым он достигнут. Когда гордец склоняет голову, он ближе к Богу, чем упавший на колени лакей: гордец должен переломить себя, прежде чем поднесет Богу знак человеческого смирения, тогда как лакей бьет поклоны по привычке, не понимая смысла действия, которое совершает.

Зосима и Алеша погружены в одинаково мягкое освещение. Они любят, а этого достаточно, чтобы завоевать доверие простых людей и детей. (Вся глава X посвящена дружбе Алеши с мальчиками городка.)

Однако интеллектуалы нападают на эту ясную философию. Иван Карамазов противопоставляет спокойной вере своего брата дьявольскую аргументацию Великого инквизитора. «Легенда о Великом инквизиторе», в том виде, в каком Иван рассказывает ее Алеше, — кульминация романа «Братья Карамазовы» и, вероятно, всего творчества Достоевского. В ней итог его исканий. В ней ответы на поставленные им вопросы. В ней — последнее слово Достоевского.

В Севилье во времена инквизиции Христос является народу. Его сразу узнают, окружают, молят о чуде. И Иисус совершает чудеса, которые от него ждут. Тогда Великий инквизитор, девяностолетний старец с иссохшим лицом и впалыми глазами, велит стражникам схватить Спасителя.

Ночью Великий инквизитор приходит в тюрьму, куда по его приказанию брошен Христос. «Зачем же Ты пришел нам мешать? — обращается он к нему. — Ибо Ты пришел нам мешать».

И старик произносит обвинительную речь против Христа. По сути, Великий инквизитор не верит ни в Бога, ни в человека. Он не верит в Бога, раз он отказывается признать Богочеловека: «Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано

Тобой прежде». Он не верит в человека, раз утверждает, что христианская доктрина превосходит моральные силы человечества.

Великий инквизитор отклоняет соединение человеческой свободы с божественной свободой. «Хочу сделать вас свободными!», — сказал Христос. Но, даровав человеку свободу выбора между добром и злом, Иисус возложил на человека ответственность за этот выбор и тем обрек его на муки совести. Он сохранил ему весь арсенал страдания: угрызения совести, искушения грехом и злом, надежда на спасение безысходно запутывается в его душе. Нет свободы без страдания, путь свободы есть крестный путь страдания. В основе своей христианство — религия страдания.

Таким образом, человек поставлен перед дилеммой: свобода со страданием или счастье без свободы. Что же он выберет?

Великий инквизитор сделал свой выбор. Христос, считает он, переоценил силы человеческого существа, навязав ему испытание свободой. Человек слишком слаб для свободного самосознания: «Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?» Главная цель человека — быть счастливым. Создать его земное счастье — задача Церкви. Церковь больше любит человека, чем Христос, возложивший слишком тяжкое бремя на душу человека.

«Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал». Эта религия хлеба небесного, такая, как она выражена в Евангелии, по силам лишь немногим избранным. Она — аристократична. Но аристократическая религия невозможна — религия предназначена для масс. Нужно, следовательно, чтобы она предложила образ жизни, приемлемый для массы. Она должна нести утешение глупцам, трусым, порочным, больным. Она должна быть понятна самому последнему из смертных. Она должна быть «вульгарна». Взамен свободы духа, сомнений, душевных мук Великий инквизитор предлагает человеку мир, созданный по законам евклидовой геометрии, — Великий инквизитор разделяет теорию Шигалева. Он берет на себя попечение о людских нуждах. Он защищает голодных и немощных. Он обещает им не хлеб небесный, а хлеб земной. «Ты обещал им хлеб небесный, но... может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным?.. Нет, нам дороги и слабые».

Религия хлеба земного — это атеистический социализм Бесов.

Великий инквизитор провозглашает царство посредственного счастья взамен великих порывов духа: «...мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песня-

ми, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех,
они слабы и бессильны...»

Во имя свободы духа Христос в пустыне отверг первое искушение — искушение «хлебом земным». По мнению Великого инквизитора, это была его первая ошибка.

Вторая ошибка в том, что он возжелал свободно дарованной ему любви человека. Но людям не дано верить по свободному влечению сердца — их нужно заставить поверить. Божественное откровение не доступно их пониманию: в нем слишком много неясностей, недомолвок, намеков: «...Ты взял все, что есть необычного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям». Человек хочет быть порабощенным, повернутым в трепет, хочет, чтобы в нем беспрерывно поддерживали потребность обожать. А Христос позволил раснять себя, как вора, истекал кровью на кресте, умирал на глазах плачущих женщин. Желая, чтобы любовь человека родилась не из чуда, Он отдал им человека от себя, Он его потерял. «Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко».

Так второе искушение, искушение авторитетом, дополнилось искушением чудом.

Христос отверг эти три искушения — Великий инквизитор их принимает. Он исправляет подвиг Христа: он основывает его на хлебе земном, на авторитете и чуде! «И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки».

Христианство перестает быть религией элиты и становится религией всех. Из любви к человеку Церковь предает Бога. Она пользуется именем Христа для укрепления порядка не духовного, а социального, — она устанавливает «христианский коммунизм». Она формулирует твердые догматы, доступные обывателю предписания. Она обещает отпущение грехов, прощение, вечную жизнь — и держит в руках свою жалкую паству. Она завлекает прихожан внешними знаками присутствия Бога — обрядами, праздниками, исповедью. Она производит сверхъестественное таинство до уровня картинок для причащающихся. Она обставляет его звоном колоколов, запахом ладана, изображениями Бога в скульптуре и живописи. Она призывает на помощь все искусства, воздействует на все чувства, лишь бы околдовать массы. Она разменивает Бога, Она предлагает и сбывает его как товар. И Ее тройная ложь, Ее тройное богохульство преподносятся столь успешно, что никому не приходит в голову изобличить Ее. Церковь отрицает Христа, но проповедует Его учение. Она — последнее

прибежище атеизма. И люди скорее сожгли бы Христа, чем перестали верить в простые догматы, которые измыслил для них Великий инквизитор. «Они станут... прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке», «Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это Ты, — объявляет инквизитор Христу. — Завтра сожгу Тебя».

Вместо ответа Христос приближается к старику и целует его в бескровные уста. Тот вздрагивает, идет к двери, отворяет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!»

Пленник уходит.

Любопытно отметить, что обличение отрыва Церкви от религии исходит от атеиста Ивана. То есть он бунтует не против Христа, а против Церкви и тем самым невольно защищает от атеизма истинную веру. Он лучше любого верующего схватывает высшую красоту морали Христа: призыв к бескорыстной любви.

По мнению Достоевского, в использовании слова Христова в империалистических целях виновна одна католическая теократия. Но в том же преступлении можно обвинить и византийское Православие. По существу, всякая церковная организация заслуживает упрека в цезаризме. Вся история Церкви — это борьба с искушением свободой духа, как несобразной натуре человека. И однако главная тайна Христа есть тайна свободы. Тайна распятия подтверждает совершенную независимость выбора, предоставленную человеку. Торжествующая божественная истина привела бы к единению душ человеческих в безбожии. Божественная истина — распятая, униженная, растерзанная, гноящаяся, оплеванная — не навязывает человеку веру в нее. Человек верит не из-за «этого», а несмотря на «это». Акт веры перед этим мертвцом, таким же, как все мертвцы, есть акт свободы. Именно к такой вере — свободной, необъяснимой рассудком, не оправданной логикой, — и призывает нас Достоевский.

Это необъятное произведение — итог не только идейных, но и художественных исканий автора. Ни в одном романе реальное не граничит так с фантастическим, как в «Братьях Карамазовых». Достоевский старается подчинить законам искусства эту историю, происходящую вне пространства и времени, неуправляемую законами причинности и противоречий. Он хочет бессознательное сделать приемлемым для обыденного сознания, бессознательное превратить в сознательное. Он хочет пробудить в людях интерес к тому, каковы они на самом деле.

Достоевский не выбирает между революцией и самодержавием, не выбирает он и между реальным и фантастическим. Он курси-

рует между двумя берегами, не приставая ни к одному. Он совмещает несовместимое. Он потратил сорок лет труда, чтобы заставить публику признать свое гибридное искусство. Что за важности! «Братьями Карамазовыми» он выиграл партию!

Публикация и перевод с французского
кандидата исторических наук

Н. Т. Унанянц